

БУРГИ БЕЗ БУРЖУА

«БУРЖУАЗИЯ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»

Петербург, Екатеринбург, Оренбург... Что имели в виду Петр и Екатерина, приделывая немецкие окончания к названиям русских городов? Водило ли высочайшим пером тайное германофильство или у самодержцев были какие-то иные, более глубокие соображения?

Мы говорим: петербуржец, оренбуржец. А по-французски то же самое звучит: петер(с)буржуа, оренбуржуа (pétersbourgeois, orenbourgeois). Буржуа — значит горожанин и в то же время нечто сверх того, принадлежность к какому-то особому, необычному для сельского общества социальному слою со своим способом деятельности, образом жизни и т. д. Не о том ли думали цари-реформаторы, пытавшиеся наставить Россию на путь европейского буржуазного развития, содействовать возникновению в ней средних слоев — буржуа? Скорее всего было именно так.

И Петра I, и Екатерину II занимала мысль «о создании среднего рода людей в смысле западноевропейской буржуазии». «Екатерина много хлопотала о так называемом третьем сословии; это третье сословие, т. е. городское промышленно-ремесленное, тогда, как известно, было модным словом в Западной Европе...; на третьем сословии покоились все надежды тогдашних либералов» (В. О. Ключевский). Ключевский приводит выдержку из письма Екатерины ее французской корреспондентке мадам Жоффрен, убеждавшей императрицу в необходимости третьего сословия: «Обещаю вам, м-м, еще раз позаботиться об этом: но и как же будет мне трудно устроить это третье сословие в России».

Императрица знала, что говорила. Мысль о создании сильного третьего сословия принадлежала к числу тех «предположений или мечтаний» Екатерины, которые, по словам Ключевского, «были упразднены самой жизнью как излишние». «Мы не можем определить, — писал он, — насколько успехи, сделанные городским классом при Екатерине, произошли от ее забот, насколько ими была обязана Россия естественному ходу дел, однако эти успехи становятся заметны, только они не оправдывают наших ожиданий... Городской класс составлял 1/25 всего податного населения империи».

С неоправдавшимися ожиданиями насчет третьего сословия России пришлось сталкиваться еще не раз.

Например, французский историк конца прошлого — начала нынешнего века А. Леруа-Болье не без основания высказывал надежды (которые тогда многие питали и в России, и вне ее), что реформы Александра II и общее буржуазное развитие страны изменят положение, приведут, наконец, к появлению сильного «среднего класса, крупной, а возможно еще больше мелкой буржуазии, служащей посредником между идеями верхов и нуждами низов. Только это может положить конец социальному дуализму, моральному расколу, который со времен Петра Великого составляет одну из бед России, препятствует упразднению привилегий и прогрессу равенства. Только тогда эта нация, разделенная внутри себя и еще сегодня расколота на две части, бессильные порознь, сможет явить Европе меру своего гения».

Отдадим, однако, должное проникательному французу, более ста лет назад подозревавшему, что третье сословие может и не прижиться в России. «Боже нас упаси от исполнения такого пожелания!» — воскликнут многие русские. Аристократы или демократы, они склонны очень плохо воспринимать это заимствованное у нас безобидное слово «буржуазия», которым злоупотребляют самым странным, на западный взгляд, образом... Они испытывают страшное презрение к нашему «буржуазному» обществу и нашей «буржуазной» цивилизации, к нашим «буржуазным» свободам и строю. Они искренне гордятся тем, что у них нет ничего подобного, и не хотят походить на нас в этом смысле. В своем стремлении к единству и социальной однородности, в своей постоянной антипатии к классовым различиям они смотрят на буржуазию как на что-то вроде новой касты или враждебной народу олигархии, не осознавая, что сближение классов, о котором они мечтают, обязательно приводит к появлению буржуазии, свободной от всех кастовых предрассудков, единственной, кто способен реализовать моральное единство нации, столь дорогое их сердцу».

И в самом деле, отсутствие в России буржуазии многим казалось признаком ее самобытности, залогом того, что страна пойдет по иному, чем Запад, пути. Например, когда П. Струве в «Вехах» высказал убеждение в том, что в ходе экономического развития русская интеллигенция «обуржуазится» и «втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества», то это немедленно вызвало возражения. «Должно ли развитие капитализма привести к тому, что и русский интеллигент «обуржуазится», проникнется мещанским духом...?» — спрашивал М. Туган-Барановский, напоминая слова Герцена о том, что мещанство — окончательная форма западной цивилизации. И, не соглашаясь со Струве, заявлял, что «русскую интеллигенцию хоронить не приходится», как будто и впрямь его приглашали на похороны.

Признавая, что в Западной Европе мелкая буржуазия веками играла «промежуточную роль между высшими классами и народными массами и соединяла все слои населения в одно целое национальной культуры», Туган-Барановский подчеркивал, что там она «была всецело созданием городского цехового строя, которого Россия, даже в каких-либо зачатках, совершенно не знала». Купцы и промышленники, конечно, были в России, но по своему происхождению, положению в обществе и государстве, влияния, самостоятельности они были далеки от западноевропейских буржуа. Ричард Пайпс имел все основания назвать посвященную им главу своей книги («Россия при старом режиме») «Буржуазия, которой не было».

Мелкая буржуазия в России и впрямь не имела прошлого. Но значило ли это, что она не имела и будущего? Многим это казалось — да и сегодня кажется — очевидным: не было до сих пор, значит, и не будет. У России свой путь.

Свой-то свой, но есть универсальные принципы организации всего сущего, не следовать которым невозможно. По мере усложнения общества усложняется и его внутренняя структура, становится более многообразным его социальный состав, прежняя же его простота и однородность превращаются в анахронизм, в торжоз, в признак отсталости.

Оно верно, конечно, что мещанство непривлекательно. В этом я всецело на стороне аристократа-демократа Герцена. Но я не могу себе представить, как без этого пошлого мещанства, без своекорыстных и эгоистичных, всегда себе на уме, мелких собственников, без их прагматичных, чурящихся крайностей политиков, которым недоступно наслаждение битвой жизни, одним словом, без промежуточных, во всех отношениях средних слоев может быть социально структурировано постфеодалное общество. Был, правда, предложен и испробован — и не где-нибудь, а в нашем отечестве — другой вариант: однородная масса крестьян превращается в не менее однородную массу государственных рабочих и служащих. Внутреннее разнообразие общества, а значит, и его устойчивость при этом оставались очень ограниченными. Оно способно было существовать только в условиях либо застоя, либо нестабильности.

К сожалению, значение внутреннего состояния общества, его социального структурирования у нас часто недооценивалось и недооценивается. Внимание

привлекает лишь то, что можно персонифицировать и свести к дуальной оппозиции: богатство — бедность, нравственность — безнравственность и т. п. Скажем, в той же статье в «Вехах» Струве размышлял о моральной ошибке радикальной интеллигенции, в основе которой «лежало представление, что «прогресс» общества может быть не плодом совершенствования человека, а ставкой, которую следует сорвать в исторической игре, апеллируя к народному возбуждению». Интеллигенция, говорит он, ставила возбуждение на место воспитания в политике, а вне идеи такого воспитания «есть только две возможности: деспотизм или охлократия».

Россия вдоволь хлебнула и того, и другого. Не зря, видно, «в зареве легенд дурак, герой, интеллигент печатал и писал плакаты про радость своего заката». Согласился в этом со Струве — и Пастернаком. Но остается все же вопрос, почему общество оказалось так легко возбудимым. Не есть ли эта повышенная возбудимость и вытекающие из нее деспотизм и охлократия следствие прежде всего слабой структурированности общества, отсутствия в нем внутренних противоречивостей, устойчивой мещанской середины, которая предпочитает держаться подальше от буревестников, носящихся, подобно черным молниям, на краях социального и политического спектра? И не есть ли вождельная демократия столь же естественное следствие присутствия средних слоев, которым есть что терять, окажись они между молотом деспотизма и наковальной охлократии?

Конечно, фермер или лавочник — не испанские гранды. Они не раз без особого труда собирались в фанатичные толпы, становились участниками факельных шествий, опорой тоталитарных режимов. Эта статья — вовсе не гимн мелкому буржуа, не попытка его приукрасить. Речь вообще идет не об отдельных людях, а о социальном слое, который, достигнув определенной зрелости, по соображениям собственной выгоды, начинает играть стабилизирующую роль в обществах современного типа. При этом я вовсе не утверждаю, что эти общества лучше каких-нибудь других, которые были или будут. Но сегодня — это общества, в которых мы живем, это наши общества. Если можно быть — и с таким шумом — патриотами места, почему нельзя быть патриотами в времени, своей эпохи, ее понимания добра и зла, ее ценностей и идеалов?

«У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока». Может быть, обидно, прожив жизнь под этим лозунгом, признать, что главной проблемой нашей жизни было то, что она не отвечала как раз буржуазным идеалам. Нам — «нам» в широком смысле: и тому же Герцену, и Солженицыну, и стрелявшей в губернатора Вере Засулич, и диссидентам самых недавних лет — всем не хватало как раз буржуазных свобод, буржуазного равенства, буржуазного права, достатка и т. п. На Западе все это было делом рук третьего сословия, среднего класса. «Он стоял за свои деловые интересы, а поскольку интересы эти требовали законопроявления и защиты прав личности, он боролся за общественное устройство, соответствующее идеалам, которые впоследствии стали называть либеральными. Коли дело обстояло так, есть смысл полагать, что между ставшей притчей во языцех неразвитостью законности и свободы личности в России и бессилием или апатией ее среднего класса существует отнюдь не поверхностная взаимосвязь» (Р. Пайпс).

НАША ЖИЗНЬ — В СЕЛАХ...

Неразвитость среднего класса в России имела немало причин, одна из них — неразвитость городов. Ведь это был «городской» класс. В Европе буржуазия создала города, а города создали буржуазию. В России же города росли медленно, а общественное мнение, враждебное буржуазии, часто было враждебно и городам. Еще в середине XIX столетия они казались чуждым, чужеродным России. От давних наивных протестов против них иной раз отдает пародией. И. Киреевский как-то писал М. Погодину: «Мы должны желать..., чтобы правительство не позволяло фабрикам заваливаться внутри городов и особенно столиц,

когда они с такою же выгодой могут стоять за несколько верст от заставы». А религиозный философ конца XIX в. Н. Федоров вообще требовал отказа и от городов, и от фабрик. «Недостаточно одного ограничения прилива сельского населения в города (в эти морильни всего живого)..., необходим обязательный вид спасения земли ежегодный набор в городах для перевода в села и на окраину с устройством кустарного производства вместо фабричного».

Киреевский, Федоров — славянофилы, «почвенники». Но сходные мотивы доносятся и из другого лагеря. Н. Огарев, даром что западник, а произносит суровый приговор Западу, где «город поглотил все». «От этого положение Западной Европы с каждым днем безвыходней. В нашем мире борьба естественно решается в пользу сел, потому что наши города только правительственная фантазия, а в действительности они не имеют ни значения, ни силы. Торговля наша производится посредством подвижных рынков (ярмарок)... Зачем нам города? Вся наша жизнь в селах... Нет! нет! ради истины и блага России — оставьте селы быть селами!»

Пока россияне продолжали искать истины и блага в сельской жизни и не любить «мещан», в Европе и Америке стремительно умножилось число городов и городских жителей.

В результате в конце XIX в. российские города во всех отношениях отставали от западноевропейских. Даже о тогдашних больших городах России, в том числе и о двух столицах, Леруа-Болье писал, что хотя на первый взгляд они кажутся колониями другого народа или другой цивилизации, на деле и они не слишком отличаются от деревни. Различия во внешней обстановке велики, а люди те же. «За исключением высшего класса, воспитанного в заграничной дисциплине, большинство горожан по воспитанию и вкусам, по привычкам и по духу остаются близкими к сельским жителям».

Еще в первые десятилетия нашего века российские города ни числом, ни величиной, ни общим количеством населения не могли соперничать с западноевропейскими или североамериканскими. В 1920 г. в городах, насчитывающих 20 тысяч жителей и более, в Англии проживало 64 процента населения страны, в США, Германии, Бельгии, Нидерландах — от 40 до 50 процентов, во Франции, Италии, Дании, Австрии, Венгрии — от 30 до 40, в России — всего 10. Меньше было только в Болгарии и Югославии.

УРБАНИЗАЦИЯ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ

Стоит ли удивляться, что после революции страна, обуреваемая стремлением догнать и перегнать, принялась лихорадочно наверстывать отставание? Опустим драматические, трагические подробности пройденного пути: они известны. Так или иначе, но количественный разрыв с Западом сильно сократился. Несколько десятилетний стремительный городской рост вывели Россию (но не СССР) на средневропейский уровень урбанизации. В 1990 г. это означало 73 процента городских жителей по отношению ко всему населению; в России было 74 процента, в СССР — 66. По сравнению с США, Канадой, Японией, Испанией, Норвегией, Чехословакией, где доля горожан перевалила за 75 процентов, а тем более с Великобританией, Германией, Бельгией, Нидерландами, Швецией, Данией, где она находится в пределах от 80 до 90 процентов, это, конечно, еще не очень высокий уровень. Но все же три четверти всего населения, живущие в городах, для России или даже две трети для бывшего СССР — это не 15—18 процентов в Российской Империи накануне революции.

Тем не менее, как ни впечатляюще выглядят показатели урбанизации, они и сейчас не позволяют с определенностью назвать советское или даже только российское общество городским.

Да, доля городских жителей в СССР в 1990 г. составила 66 процентов. Но ведь в большинстве своем это были вчерашние обитатели деревни. Среди шестидесятилетних жителей страны было не более 15—17 процентов коренных го-

рожан. Среди 40-летних их уже примерно сорок процентов. И только среди 22-летних и более молодых — свыше половины. Но на долю этих последних приходится 37 процентов всего населения, меньшинство. Так что, пожалуй, и сейчас нельзя сказать, что мы стали по преимуществу городским обществом. Мы все еще в большинстве — горожане в первом поколении, наполовину или на три четверти горожане, а наполовину или на четверть крестьяне.

И все же сдвиг колоссальный. Около 60 процентов всех детей в бывшем СССР (а в России — все 70) рождаются в городах и воспитываются в них и ими. Эта доля будет расти, уроженцы городов скоро станут несомненным большинством народа. Исчерпывает ли, однако, этот количественный сдвиг все проблемы, связанные с завершением урбанизации и ее вкладом в модернизацию бывшего советского, а теперь российского, украинского и т. д. обществ?

В том-то и дело, что нет. Незавершенность нашей урбанизации, незрелость городского общества проявляются не только в том, что не очень высока пока доля городского населения, и даже не только в том, что в нем преобладают еще горожане в первом поколении. Может быть, важнее всего то, что недостаточно развита социальная структура городского общества, и мы все еще стоим перед необходимостью решать задачу, оказавшуюся непосильной для Екатерины II.

На Западе быстрому количественному росту городов в XIX—XX вв. предшествовали столетия их качественного возвышения, оно было одной из главных осей складывания нового типа общества. По словам Ф. Броделя, уже в XV в. города на Западе «навязывали себя деревням, подчиняя себе округи с помощью городских рынков. Промышленные цены росли, цены сельскохозяйственные снижались. Таким образом города одерживали верх». За несколько веков влияние городов преобразило западноевропейское общество, так что их количественный рост в более близкие к нам времена оказался подготовленным и лишь закрепил, — разумеется, упрочив и усилив, — их главенствующее положение. Города изменили социальный состав населения, создали особый образ жизни, вскормили третье сословие, и в конце концов породили городское общество, в принципе отличное от сельского по способу жизнедеятельности.

Казалось бы, нечто подобное должно было происходить и у нас — пусть и с опозданием, уже в наше время. Как отмечалось, с конца 20-х годов урбанизация в СССР резко ускорилась, и, если исходить из западного опыта, следовало ожидать и качественных перемен в самом обществе, в частности ускоренного становления городских средних классов. В какой-то мере это и происходило — в силу законов конвергенции. Невозможно жить в городской и промышленной среде по сельским правилам, иметь столь же простую социальную структуру и т. д. Конвергенция, впрочем, — вещь обоюдоострая. Если вылез из воды на сушу, расстаешься с жабрами и обзаводишься легкими, иначе не проживешь. Однако же кит — млекопитающее, а живет в воде и потому похож на рыбу. Не произошло ли то же самое и с нашими горожанами?

Урбанизация у нас, как и многие другие модернизационные процессы, была крайне противоречивой, двусмысленной, означала одновременно и шаг вперед, и шаг назад, движение и в сторону Запада, и в противоположную, конвергенцию и дивергенцию.

Массовый переток сельских жителей в города в двадцатые и особенно в тридцатые годы привел к тому, что примерно в сороковые — шестидесятые годы наши города оказались захваченными вчерашними крестьянами. Принесенная в жертву Молоху индустриализации, лишенная прав, измученная голодом, истекавшая кровью, разоренная войной, но не только ею деревня искала спасения в городах, продолжая и там служить тому же Молоху, неся на себе главную тяжесть «строительства социализма» и его защиты... Так что смысл «захвата», о котором я говорю, далеко не победный. Речь лишь о том, что те, кто спасся, выжил и обосновался в городах, оказались на какое-то время в огромном численном превосходстве над коренными горожанами. А уж естественным следствием этого стал постепенный переход в их руки влияния и власти, которые сосредоточивались в городских центрах.

«Почитайте появляющиеся в советской печати однотипные некрологи номен-

клатурных чинов старшего поколения, — пишет М. Восленский в своем исследовании советской «номенклатуры», — вы увидите: подавляющее их большинство — выходцы из крестьян. Каково бывает соотношение рабочих и крестьян в номенклатуре, видно из следующего примера: в 1946 году в Минской области было 855 руководящих работников, в том числе из крестьян 709 (почти 80 процентов), а из рабочих — всего 58 человек».

После 1946 г. иные выходцы из крестьян продвинулись и повыше уровня минской областной номенклатуры. Их доля, например, в составе Политбюро, которая при Ленине не достигала и 20 процентов, а при Сталине не превышала четверти, во времена Брежнева поднялась до 55 процентов. Состав Политбюро разумеется, лишь иллюстрация, правда, весьма красноречивая, общего положения с распределением властных полномочий на всех уровнях и во всех областях жизни.

Последние десятилетия нашей жизни — время естественного лидерства поколений десятых — двадцатых годов — были как никогда «сельскими». У власти великой державы стояли деклассированные маргиналы, «выбившие» из крестьян. В этом нет их вины или заслуги. Так — без всякого шулерства — были сданы карты русской истории XX века. Они и не могли лечь иначе, наиболее пронцательные люди догадывались об этом уже сто лет назад. Впрочем, последнее утверждение может быть и оспорено любителями сослагательного наклонения, но что было, то было. Этого не оспоришь.

Страна урбанизовалась, но сами города «рурализовались», одеревенщивались, в чем и проявлялись черты дивергентного с Западом городского развития. Теоретически следовало тем не менее ожидать, что, оказавшись в мощном поле влияния городской среды, новоиспеченные горожане начнут быстро меняться, усваивать городские ценности, нормы поведения, эстетические критерии и т. п. На практике же все было не столь однозначно, ибо дивергентные тенденции наметились и в развитии городской среды, которая сама взривалась не без воздействия менталитета и эстетики новых горожан — вчерашних крестьян. Это относится даже и к материальной среде городов — их планировке, архитектуре, способам освоения пространства и пр.

«Сельскость» этой среды бросалась в глаза и прежде. По впечатлениям иностранцев, относящимся к достаточно отдаленному прошлому, в отличие от Франции, Италии или Германии, где горожане стремились к более плотной застройке, к созданию особого мира, отличного от сельского, заполненного людьми и творениями их рук, в России города располагались по земле, «оставляя между жилыми домами и общественными зданиями обширные пространства, которые население не может ни заполнить, ни оживить». Поэтому для иностранца, приезжающего из Европы, большинство городов... — это что-то незаполненное, пустынное, незавершенное; часто они напоминают свои собственные пригороды» (А. Леруа-Болье). Эти давние наблюдения не утратили смысла и по сей день. Полноценной городской среды и городской инфраструктуры сейчас не найти почти ни в одном городе страны, даже Москва и Петербург все больше теряют свой столичный класс. Между тем городская среда не только создается горожанами, но и создает их. Экстенсивная, однообразная, невыразительная даже в центрах городов застройка, вымирающие к вечеру улицы — не лучшее место для воспитания активных и многомерных «городских» характеров, для организации разностороннего человеческого общения.

ГОРОДСКИЕ ИГРЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

И все же главным источником дивергентного развития советских городов, придававшим столь противоречивый характер плодам бурной урбанизации СССР, была, конечно, господствовавшая система «феодалного социализма».

Современный город — стихия рыночных, денежных отношений, арена их триумфа, и именно в этом — главная сила его влияния на человека. Рынок, день-

ги, существовавшие испокон веков, на «городском» этапе истории становятся мощнейшим регулятором всей социальной жизни. Без универсальности денег немислим и универсальный «городской» человек. А «противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег», о котором писал Маркс, служит как бы зеркальным отражением противоречия существования индивидуального человека в мире универсальных возможностей, стало быть, в мире постоянного выбора.

Выражая ту же мысль, Г. Зиммель подчеркивал, что «во все времена большие города были зоной монетарной экономики, и связывал с этой их особенностью тип личности горожанина — рационального человека. «Чисто рациональный человек безразличен ко всему индивидуальному, потому что индивидуальные отношения, с точки зрения логического разума, неисчислимы. Подобным образом монетарный принцип не принимает во внимание индивидуального характера явлений». «Типичный горожанин, — а он имеет, разумеется, тысячи индивидуальных разновидностей — создает себе орган, защищающий его от потери корней, которым угрожают несущие его в разные стороны течения внешней среды: он реагирует на них не столько сердцем, сколько разумом, которому рост сознания, в силу тех же причин, отдает предпочтение в психическом аппарате».

Бурная урбанизация советского периода сопровождалась чем угодно, только не триумфом рыночных отношений. Скорее она дает основания говорить о триумфе — и полном крахе — принципа централизованного распределения.

Подобно промышленности и сельскому хозяйству, а может быть еще и в большей степени, города были исключены из сферы рыночного регулирования. Считалось, что вопросы о том, где и какие строить заводы, решались центральными планирующими органами «на научной основе». Но на деле, в отсутствие рыночного ценообразования, позволяющего судить о спросе, предложении, издержках и т. п., эти органы просто не имели объективных критериев для принятия подобных решений. Зато свобода субъективных оценок, политического давления, коррупции в этих случаях была очень велика. В распределении капиталовложений в городскую промышленность и городское хозяйство царил случайность и произвол.

Конечно, экономика мстила за неуважение своих законов. Всевластие планового начала было фикцией, оборачивалось хаосом и бесконтрольностью. В 1931 г. Пленум ЦК ВКП(б) — тогда полный хозяин страны — принял решение «О московском городском хозяйстве и о развитии городского хозяйства в СССР», где, в частности, говорилось: «Пленум ЦК считает нецелесообразным нагромождение большого числа предприятий в ныне сложившихся крупных городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих городах новых промышленных предприятий, в первую очередь не строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.». С тех пор было принято бесчисленное множество подобных решений, постоянно расширявших круг городов, в которых следовало ограничивать промышленное строительство (например, в 1956 г. было принято постановление правительства о запрещении промышленного строительства в 48 крупных городах и о его ограничении еще в 23), и пролиты океаны публицистических и «научных» слез по поводу того, что эти решения никогда не выполнялись. Они и не могли выполняться, потому что по своей идеологии и методологии мало отличались от цитированной выше рекомендации И. Киреевского «не позволять фабрикам заводиться внутри городов и особенно столиц».

Такое же выхолащивание рыночных механизмов произошло и в повседневной жизни горожан. Как-то П. Столыпин привел в одном из своих выступлений в Государственной Думе слова Достоевского: «деньги есть чужденная свобода». Подавление монетарной экономики, почти полное исключение из сферы ее влияния городского развития, замена «нгр обмена» «играми распределения» обернулись огромной несвободой и для горожан, и для негорожан.

Ярким проявлением этой несвободы стали прописка и связанные с ней ограничения. Они появились в 1932 г., на самой заре советской урбанизации, одновременно с введением паспортов. Впрочем, для России это не была такая уж новая мера. Даже после отмены крепостного права крестьянин не мог уйти в го-

род — хотя бы временно, на заработки, — не получив паспортного документа, что требовало согласия сельского общества и хозяина крестьянского двора. Этот документ выдавался на ограниченный срок и мог быть не продлен или даже отобран до истечения срока. Еще сложнее было окончательно выйти из сельского общества и вступить в одно из городских сословий. Существовавшие здесь правила основывались «на непризнании за крестьянами свободы передвижения, закрепляли их зависимость от «мира», сельской и волостной администрации, иногда также от губернского по крестьянским делам присутствия, утверждали связанность крестьянина как члена семейства. На деле официальные правила отягощались постоянными вымогательствами и незаконными поборами» (П. Рынзюнский. Крестьяне и город в капиталистической России второй половины XIX века. М., 1983).

В конце XIX в. все это рассматривалось как пережитки крепостного права, вызвало постоянные протесты со стороны самых разных политических сил. В начале 30-х годов XX в. забытый, казался бы, опыт царской администрации снова оказался полезным. Проживание в городе предполагало наличие паспорта со штампом о прописке. Прописка же во все большем числе городов становилась ограниченной, так что не только крестьянин не мог туда вселиться (у крестьян долгое время вообще не было паспортов), но и житель одного города не мог свободно переехать в другой. В лучшем случае он мог сделать это с помощью обмена квартиры, лишней раз демонстрируя возможности натуральнохозяйственных отношений в XX веке.

Прописка была не просто полицейской мерой, как иногда думают, а хитрой частью механики прямого распределения, претендовавшего на то, чтобы вытеснить из социальной практики опосредующие рыночные механизмы. Она была чем-то вроде сословной привилегии горожанина, ибо давала право требовать получения бесплатной квартиры, пользоваться разного рода городскими благами — неодинаковыми в разных городах и т. п. Вообще прописка служила хорошей иллюстрацией ублюдочных, как сказал бы Маркс, форм, сочетающих в себе новейшие достижения урбанизации (миллионные города — индустриальные центры) со средневековой арханкой (прямое распределение в натуральной форме, отсутствие свободы передвижения и пр.).

Большинство бывших советских граждан и сегодня не понимает, что такое продажа недвижимости. Практически исчез рынок жилья: оно распределялось, «выдавалось», «получалось». При этом очень гордились бесплатностью квартир, низкой стоимостью коммунальных услуг.

Однако кто-то же за все это платил? Платили, конечно, все «трудящиеся» (в том числе и крестьяне, которым городского жилья не полагалось) через систему явных и неявных удержаний из заработанного ими, и здесь не было никаких исключений. А вот какое жилье получал человек и получал ли он его вообще, — это зависело от массы случайностей или волевых, субъективных решений, которые абсолютно не поддавались контролю со стороны гражданина.

ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ИЛИ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО?

Но, может быть, самое важное следствие особого пути советской урбанизации — отсутствие «средних» городских слоев.

Городское население по-прежнему слабо дифференцировано — и в имущественном, и в социально-профессиональном отношении. Еще более ста лет назад Леруа-Болье обращал внимание на чрезвычайную бедность российской городской социальной сцены. На ней выступали уже купцы и промышленники, но почти отсутствовали представители либеральных профессий: юристы, врачи, писатели, профессора, инженеры, нотариусы и т. п. «Россия никогда не знала этой аристократии маитии, которая по своему положению и духу занимала столь гадное ме-

сто в нашей старой Франции... В этом отношении Россия первой половины XIX в. была еще позади Франции XVI в.»

Воюю, она и сейчас еще не догнала Францию тех далеких времен. Конечно, где-нибудь в миллионном Нижнем Новгороде, Екатеринбурге или Омске вы найдете тысячи инженеров самых разных специальностей. Но отличие физика от химика в социальном плане не принципиально. А с «аристократией мантин» как было плохо, так и осталось. Много ли места отводила «командно-административная система» адвокату, судье, юриконсульту, нотариусу? Все еще экзотически звучат у нас такие слова, как «биржевик» или «банкир». А ведь с их деятельностью связано нечто большее, чем технология обработки металла или создания ядерного реактора. Они — специалисты в области технологий жизни в сложном обществе. Эта технология, конечно, везде несовершенна, но все же в ней есть свои ноу-хау, порожденные столетиями развития современной городской цивилизации.

Разумеется, индустриализация и урбанизация делали свое дело, внутреннее разнообразие социальной системы увеличивалось, формирование городских средних слоев продвинулось довольно далеко и в советском обществе. Но что представляют собой новые городские слои с социальной и социокультурной точек зрения?

Если говорить о городском населении вообще, то прежде всего бросается в глаза его социокультурная маргинальность.

Переселение крестьянина в город — классический пример маргинализации человека, источник множества синдромов социальной дезадаптации. В СССР, как и везде, вчерашний крестьянин не становился автоматически «городским» индивидуализированным человеком. Поначалу это было лишь формальное превращение, что служило источником огромных, хотя и не всегда осознаваемых социальных напряжений.

Маргинализировались целые поколения, десятки миллионов людей. С одной стороны, это не могло не привести к очень быстрому разрушению групповых социокультурных стереотипов, выработавшихся столетиями, к их забвению. Утрачивалась социальная память, а значит, и та почва, на которой естественным образом формируется многообразие индивидуальных культурных образов, передаваемых от родителей к детям. С другой же стороны, индивидуализация личности плохо воспринималась поколениями, воспитанными на принципах следования групповым стереотипам. Весь процесс социального наследования оказался дезорганизованным, общество — дезориентированным.

Естественно, что по мере укоренения бывших крестьян, крестьянских детей и внуков в городах, их вращающих в развивающуюся систему городских связей, маргинальность постепенно изживается, и можно было бы надеяться на их все более полное «обуржуазнение», превращение в те самые средние слои, о которых мечтал еще Петр I и Екатерина II.

Нельзя, однако, упускать из виду уже упоминавшуюся неполноценность системы внутренних связей советского городского общества. Она развита здесь в основном лишь постольку, поскольку развито разделение труда. При современной индустриальной экономике это развитие, конечно, весьма значительно. А оно делает если не массовой, то все же широко распространенной фигуру специалиста, то есть человека, обладающего личным, неотторжимым достоянием — знанием, специальностью, квалификацией. В этом достоянии, особенно если речь идет о более редких, интеллектуальных и творческих профессиях, — одна из опор личной независимости, из которой вырастает гражданское самосознание средних классов.

Но еще П. Миллюков, размышляя в начале века о будущем средних классов в России, писал, что «Третье сословие нашего времени формируется из самых различных элементов русского прошлого, в нем намечаются те силы, которые создали культурную жизнь современной Европы: сила капитала и сила знания». Одна из этих сил, как мы видели, начисто отсутствовала в советское время. Не было «капитала», собственности, не было экономической независимости, столь характерной для классических средних слоев в обществах западного типа.

Практически все наши специалисты — от юриспруденции или джаза до торговли или пошива модной одежды — государственные служащие. Об этом «парадоксе среднего класса» писал А. Амальрик в своей знаменитой статье «Просуществовать ли СССР до 1984 года?». «В нашей стране, поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников — у писателей, состоящих членами Союза писателей, ученых, работающих в государственном институте, рабочих или колхозников в такой же степени, как у чиновников КГБ или МВД. ...Так называемый средний класс не только не представляет исключения в этом отношении, но для него... эта психология в силу его социальной срединности как раз наиболее типична. А многие члены этого класса попросту являются функционерами партийного и государственного аппарата. Таким образом, ...хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой могли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка и демократического управления, ...эта среда столь посредственна, ее мышление столь «очинвлено»..., что успехи демократического движения, опирающегося на этот социальный слой, представляются мне весьма проблематичными».

Эти слова Амальрика, написанные в 1969 г., к сожалению, оказались пророческими. Ничто не обозначилось в последние годы ярче, чем посредственность социальной среды, на которую, казалось бы, должна была опираться воскресающая российская демократия, равно как и посредственность ее даже и наиболее ярких представителей. И опять-таки в этом нет их вины. Каково общество, таковы и люди. А общество пока все еще промежуточное, полугородское-полудеревенское.

Конечно, многое изменилось. Модернизация советского общества продвинула его очень далеко по сравнению с исходным состоянием на рубеже второго и третьего десятилетий XX века, в том числе и в его превращении в городское. Но, вследствие внутренней противоречивости советской модели урбанизации, пока создана, в лучшем случае, лишь, так сказать, внешняя оболочка нового городского общества, его материальная форма. По сути же в нем еще очень много сельского. Это относится и к преобладающим регуляторам человеческой деятельности, и к системе ценностей, и к менталитету городских жителей. Вернувшиеся на прежние места петровские и екатерининские «...бурги» все еще не означают появления «петербуржуа» или «екатеринбуржуа». Городское население — да, но для городского общества оно еще слишком слабо структурировано, слабо дифференцировано, средние городские слои в полном смысле слова пока лишь едва обозначены. И в то же время сейчас, как, может быть, никогда прежде, ясно: без этих слоев, без «третьего сословия» не обойтись, не вдохнуть новую жизнь в каменные и металлические громады городов и заводов, созданию которых была жертвенно отдана жизнь наших дедов и отцов.

Но и как же будет нам трудно устроить это третье сословие в России!